



А. М. СКАБИЧЕВСКИЙ

Есть ли у г-на А. Чехова идеалы?

«Палата № 6», «Рассказ неизвестного человека»

I

Г-н Чехов не раз уже имел несчастье терпеть страшное обвинение в отсутствии идеалов. Я называю это обвинение *страшным*, потому что, в самом деле, можно ли представить себе обвинение более жестокое и уничтожающее человека, как отрицание у него каких бы то ни было идеалов? Вы можете отрицать в писателе талант, — и он все-таки может утешаться хоть тем, что если у него нет таланта в том высоком, идеальном смысле, какой придает этому слову критика, то настолько талантом он все-таки одарен, что произведения его признаются годными к печати. Можете отрицать в нем знания — ну, что же: знания, образованность, развитие, — все это наживное и с большими или меньшими усилиями приобретаемое. Но отрицание идеалов — шутка ли сказать: ведь это равносильно отрицанию святой святых человека, всего его внутреннего содержания, отрицание самого человека!..

По моему мнению, здесь скрывается большое недоразумение, коренящееся в том, что в своей прошлой, теперь уже очень обильной литературными плодами, деятельности г-н Чехов был слишком художник и увлекался подчас «лазурью небес» или «соловьиными трелями» на одном ряду с предметами, заслуживающими большего внимания с точки зрения людей, занимающихся решением важных вопросов жизни. Но любить съесть кусок хорошего швейцарского сыру не значит еще быть обжорой, равно и рюмка старого вина не составляет еще пьянства. Можно и сыр любить, и от рюмки вина не отказаться, но быть очень далеким от мысли, чтобы сыр и вино со-

ставляли главную цель и значение жизни, а на все остальное наплевать. Кто говорит, были и теперь немало найдется у нас эстетиков, которые уверяют нас, что упиваться «лазурью небес» и «соловьиными трелями» гораздо почтеннее и добродетельнее, чем умирать за отечество. Но, ради Христа, найдите мне хоть одну страницу у г-на Чехова, которая давала бы вам право обвинять его в подобных же взглядах?

У г-на Чехова найдете вы свои фальшивые страницы, как-вы, например, концы его произведений «Дуэль» и «Жена», но эти концы страдают вовсе не художественным индифферентизмом и эпикурейством и не отсутствием идеалов, а, напротив того, тем крайним идеализмом, который полагает, что вера и любовь в буквальном смысле двигают горами, и что самому отпетому негодяю ничего не стоит под их влиянием обратиться в рыцаря без страха и упрека...

Вышеозначенное недоразумение, т. е. отрицание у г-на Чехова идеалов, происходит между прочим и от той причины, что как художник в истинном смысле этого слова г-н Чехов никогда не формулирует своих идеалов теоретически; воплощать же их в живые образы ему не приходится, так как он имеет дело с русской действительностью, дающей ему очень мало светлых красок, но в то же время он слишком реальный писатель для того, чтобы изображать то, чего в жизни он не встречает.

Поэтому ему приходится поневоле скрывать свои идеалы, подразумевать их, выставляя явления, стоящие в полном противоречии с ними. Но подумайте, разве есть какая-нибудь возможность выставить все безобразия каких-либо явлений и вопиющее отступление их от идеалов, раз художник не хранит этих идеалов в душе своей, не проникнут ими? Так, например, возьмите хотя бы «Палату № 6» — примите во внимание не тот или другой характер, сцену, эпизод, а всю картину в ее полном ансамбле. Перед вами рисуется в маленьком захолустном городке такое страшное общественное разложение, дальше которого трудно себе что-либо представить, — разве что последний день Помпеи или Содомы. Сообразите только, имел ли бы возможность художник нарисовать столь мрачную картину во всем ее ужасающем вас безобразии, если бы в душе своей он не имел идеала иной, более светлой, разумной и желательной жизни?

Надо вам, впрочем, сказать, что раньше, чем я успел прочесть «Палату № 6» сам, меня познакомил с сюжетом ее один пришедший ко мне приятель, только что прочитавший ее и в свою очередь находившийся под сильным ее впечатлением. По

рассказу моего приятеля, в основе сюжета лежит чистейшая уголовщина, заключающаяся в том, что человека, находившегося, как официально выражаются, «в здравом уме и твердой памяти», заподозревают в помешательстве, сажают в сумасшедший дом, и там он трагически погибает от апоплексического удара под побоями больничного сторожа.

Все это, по словам моего приятеля, случилось неспроста и не случайно, а по сознательному умыслу злого человека, в интересах которого было погубить таким ужасным образом своего ближнего. В захолустном, видите ли, городе жили-были два доктора. Один из них, Андрей Ефимович Рагин, двадцать лет уже состоял при городской больнице, хотя медицину знал очень плохо; службу он исполнял небрежно, но был очень мягкий, добрый, гуманный и любил пофилософствовать на досуге. Другой — уездный врач, Евгений Федорович Хоботов, был приглашен городом на усиление медицинского персонала в городской больнице и на помощь Рагину¹. Это был еще молодой человек лет около 30, высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазами. Приехал он в город без гроша денег, с небольшим чемоданчиком и с молодой некрасивой женщиной, которую он называл своей кухаркой. У этой женщины был младенец. Ходил Евгений Федорович в фуражке с козырьком и в высоких сапогах, а зимой — в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеичем и с казначеем, а остальных чиновников называл почему-то аристократами и сторонился их. Во всей квартире у него была одна только книга: «Новейшие рецепты венской клиники 1881 года». Идя к больному, он всегда брал с собой и эту книжку. В клубе по вечерам играл на биллиарде, карт же не любил. Большой был охотник употреблять в разговоре такие слова, как «канитель», «мантифолия с уксусом», «будет тебе тень наводить» и т. п.

В больнице он бывал два раза в неделю, обходил палаты и делал приемку больных. Совершенное отсутствие антисептики и кровососные банки возмущали его, но новых порядков он не вводил, боясь оскорбить этим Андрея Ефимовича. Своего коллегу, Андрея Ефимыча, он считал старым плутом, подозревал у него большие средства и втайне завидовал ему. Он охотно бы занял его место.

И вот такому господину, во всех отношениях ничтожному, пришлось вдруг играть роль злодея повести. По рассказу приятеля, именно он распустил по городу слухи о сумасшествии Андрея Ефимыча и засадил коллегу в сумасшедший дом, где тот погиб столь ужасно.

Я вполне признаю при малокультурности и дикости нашего общества возможность запереть в сумасшедший дом вполне здорового человека из каких-то своекорыстных и злодейских целей, тем более что такие прискорбные случаи оказываются возможными даже в столь цивилизованной стране, как Англия, в чем убеждает нас известный роман Марка Гопа «В тюрьме». Еще более признаю возможным, что и без всякого злодея во главе и какого-либо коварства, в невежественной стране вдруг, ни с того, ни с сего, здорового человека могут признать помешанным, и он таким образом попадает в заколдованный круг, из которого нет выхода, так как каждый шаг его, слово перетолковываются в пользу болезни, он же конфузится и теряется под градом подозрительных взглядов, устремленных на него со всех сторон, делает и в самом деле разные странности, которых не делал бы, если бы не находился в таком положении, и поступки еще более оправдывают и подтверждают составившееся о нем мнение.

Представьте же себе мое удивление, когда, прочтя повесть сам, я не нашел в ней ни того, ни другого. Андрей Ефимыч действительно попал в сумасшедший дом и кончил там ужасной смертью, но это произошло вовсе не от коварства Хоботова, замышлявшего избавиться таким образом от коллеги и занять его место, и, с другой стороны, — вовсе не вследствие простофильства темных обывателей города, принявших здорового человека за больного. Андрей Ефимыч явился предо мной действительно далеко не в здравом уме и твердой памяти, и в самом авторе неизмеримо в большей степени, чем в ничтожном Хоботове, я усмотрел коварный замысел изобразить в лице Андрея Ефимыча именно психически больного человека². Если же он ввел читателей своих в некоторое заблуждение, то это произошло от двух причин: во-первых, он слишком объективировался, ни разу не промолвившись, какая основная мысль рассказа и какого мнения он о своем герое, предоставляя читателям самим прийти к заключениям, какие явствуют из повести; и, во-вторых, в лице своего героя он представил душевнобольного, подверженного такого рода психической болезни, которая может длиться десятки лет, не обнаруживаясь никакими явными и резкими симптомами, и читатель, пробежавший повесть не особенно внимательно, мог совсем упустить из виду именно это обстоятельство.

Предполагая, что подобного рода читателей, вроде моего приятеля, может быть много, — и повесть г-на Чехова рискует быть не понята и не оценена по своему значению и достоин-

ству, я намерен немедленно же приступить к анализу главного героя его, Андрея Ефимовича.

II

— Да, я болен. Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество неспособно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотритель и вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас, почему же мы сидим тут, а вы нет? Где логика?

Так говорил доктору один заведомо больной, задержавшийся в 6-й палате, Иван Дмитриевич Громов, страдавший много уже лет манией преследования.

Вот в этих словах сумасшедшего и заключается, по моему мнению, основная мысль повести Чехова.

И действительно, взглядываясь в нравственный и умственный мир Андрея Ефимыча и затем в тот полный разлад, какой существовал между его теорией и практикой жизни, мы выносим именно то тяжелое давящее чувство, какое производит на нас зрелище душевнобольных.

Прежде всего вас поражает страшное состояние больницы, во главе которой стоял Андрей Ефимыч.

«В палатах, коридорах и в больничном дворе, — читаем мы, — тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, в ваннах держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Ефимыча, рассказывали, будто он занимался тайной продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно; одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем в больнице; не рябчиками же их кормить! Другие же в оправдание говорили, что одному городу без помощи земства не под силу содержать хорошую больницу; слава Богу, что хоть плохая есть. А молодое земство не открывало лечебницы ни в городе, ни возле, ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу».

Еще более ужасающее впечатление производила палата № 6, где содержались душевнобольные.

«Если, — рассказывает автор, — вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдете по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около печки навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда не годная, истасканная обувь, — вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниет и издает удушливый запах. На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита, старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки, и красный нос; он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная и кулаки здоровые. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что *их* надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, по чем попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядка. Далее вы входите в большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сеней. Стены здесь вымазаны грязно-голубой краской, потолок закопчен, как в курной избе, — ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно. Окна изнутри обезображены железными решетками. Пол сер и занозист. Воняет кислой капустой, фитильной гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец».

Читая это ужасающее описание больницы, правда, в захолустном городке, за 100 верст отстоящем от железной дороги, вы начинаете понимать, отчего простой народ питает к больницам такой панический ужас.

А что же делал стоявший во главе больницы наш почтеннейший Андрей Ефимович? Как мог допустить он, чтобы вверенное ему заведение обратилось в какой-то хлев, исполненный смрада и тления?

Оттого-то и допускал и терпел он все эти безобразия, что был вполне душевнобольной человек. В самой внешности своей представлял он собою странное раздвоение и диссонанс: наружность у него была тяжелая, грубая, мужицкая; он напоминал трактирщика на большой дороге, разъезжего, невоздержного и крутого. Лицо суровое, покрытое синими жилками, глаза маленькие, нос красный. При высоком росте и широких плечах у него были громадные руки и ноги: казалось, хватит кулаком — дух вон. И вдруг при такой внушительной наружности поступь у него была тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрече в узком коридоре он всегда первый останавливался, чтобы дать дорогу, и не басом, как ждали, а тихим, мягким тенорком говорил: «Виноват». В то же время одевался именно с небрежностью душевнобольного: одну и ту

же пару таскал лет по десяти, а новая одежда, которую он обыкновенно покупал в жидовской лавке, казалась на нем такой же поношенной и помятой, как старая; в одном и том же сюртуке он и больных принимал, и обедал, и в гости ходил, и все это не из скупости, а от полного невнимания к своей наружности.

Такой же диссонанс и разлад замечался и во всем его характере, равно и в строе жизни его. Прежде всего вас поражает в нем полное отсутствие воли, — один из весьма существенных признаков психического расстройства. Он чрезвычайно любил ум и честность, но, чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватало характера и веры в свое право. Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умел. Казалось, он дал обет никогда не возвышать голоса и не употреблять повелительного наклонения. Сказать «дай» или «принеси» ему было трудно; когда ему хотелось есть, он нерешительно покашливал и говорил кухарке: «Как бы мне чаю...» или: «Как бы мне пообедать». Сказать же смотрителю, чтобы он перестал красть, или прогнать его, или совсем упразднить эту ненужную паразитную должность — для него было совершенно не под силу. Когда обманывали Андрея Ефимыча или подносили для подписи заведомо подлый счет, он краснел, как рак, и чувствовал себя виноватым, но счет все-таки подписывал; когда больные жаловались ему на голод или на грубых сиделок, он конфузился и виновато бормотал: «Хорошо, хорошо, я разберу после... Вероятно, тут недоразумение...»

При таком феноменальном безволии Андрей Ефимыч, приняв должность, отнесся к больничным беспорядкам равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил два шкафа с инструментами, — смотритель же, кастелянша, фельдшер и хирургическая рожа остались на своих местах. В первое время Андрей Ефимыч работал очень усердно: принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой.

Дамы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские. Но с течением времени дело прискучило ему однообразием и очевидной бесполезностью. Сегодня принял 30 больных, а завтра, глядишь, привалило их 35, послезавтра — 40, и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить... Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страда-

ния, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству, а во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания капсюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастье. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения; бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе; но почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрене Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амебы, если бы не страдания? Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.

И к довершению контраста этот опустивший руки байбак, этот безвольный субъект, предоставивший несчастных больных, вверенных его попечениям, на руки извергов, выражался очень часто, что «на этом свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум проводит резкую грань между животным и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие».

И вот, в силу этого убеждения, что ничего нет выше духовных проявлений человеческого ума, доктор всю жизнь только и делал, что философствовал, причем философия его была совершенно особенного рода, специфическая философия русских безвольных людей, и не умеющих, и не желающих относиться к жизни активно. В одном месте автор устами одного сумасшедшего субъекта³ прекрасно характеризует эту российскую философию такими словами:

«— Во всю жизнь до вас никто не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал; здоровы вы, как бык. Росли вы под крылышком отца и учились на его счет, а потом сразу захватили синекуру. Больше двадцати лет выжили на бесплатной квартире, с отоплением, с освещением, с прислугой, имея притом право работать, как и сколько вам угодно, хотя бы ничего не делать. От природы вы человек ленивый, рыхлый, и потому старались складывать свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не двигало с места. Дела вы сдали фельдшеру и прочей сволочи, а сами сидели в тепле, да в тишине, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышлениями о разной возвышенной чепухе и выпивохом. Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страдания и ничему не удивляетесь по очень простой причине: суета сует, внешнее и внутреннее презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумения, истинное благо, — все это философия, самая подходящая для российского лежебока.

Видите вы, например, как мужик бьет жену. Зачем вступаться? Пусть бьет, все равно оба помрут рано или поздно, а бьющий к тому же оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить — умирать, и не пить — умирать. Приходит баба, зубы болят... Ну, что ж? Боль есть представление о боли, и к тому же без болезней не проживешь на этом свете, все померем, а потому ступай, баба, прочь, не мешай мне мыслить и водку пить. Молодой человек просит совета, что делать, как жить; прежде чем ответить, другой бы задумался, а тут уже готов ответ: стремись к уразумению или к истинному благу. А что такое это фантастическое “истинное благо”? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязуют, но это прекрасно и разумно, потому что между этою палатою и теплым уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия: и делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь... Нет, сударь, это не философия, не мышление, не острота взгляда, а лишь факирство, сонная одурь... Да!.. Страдания презираете, а, небось, прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло!..»

Не правда ли, сколько глубокой правды в этих словах сумасшедшего, и какой прекрасный ключ дают они нам к уразумению причины появления в нашем обществе толстовщины и тому подобных доморощенных учений? Все это оказывается прямым порождением нашей безвольности, пассивности, разгильдяйства, — словом, всероссийской обломовщины.

Так вот каким является перед нами герой рассказа г-на Чехова в своем ежедневном обиходе. Теперь мы посмотрим, как из едва заметных симптомов развилась в нем психическая болезнь, доведшая его до сумасшедшего дома.

III

Я уже говорил выше, что основная идея повести г-на Чехова заключается в том, что «десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что наше невежество не способно отличить их от здоровых».

Идея эта вполне наглядно выражается в той параллели, какую провел автор между двумя главными своими героями: одним заведомо сумасшедшим и потому содержащимся в палате № 6, Иваном Дмитриевичем Громовым, другим — знакомым уже нам доктором Андреем Ефимовичем Рагиным.

Несмотря на то, что оба эти душевнобольные значительно отличались один от другого характером своих недугов: у одного была мания преследования, у другого — атрофия воли с наклонностью к идиотизму вследствие алкоголизма, — оба они сходятся в одном, именно, что, будучи душевнобольными, пользовались продолжительное время свободой, пока, наконец, не

обнаружили своих недугов в таких резких проявлениях, которые обратили на себя внимание всех их окружающих. Громов был сын чиновника. Он учился уже в университете, когда старик-отец его был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от тифа, а старший брат Сергей умер в скоротечной чахотке. Иван Дмитриевич с матерью остались без всяких средств. Борясь с нищетой, он пал духом, захирел и, бросив университет, уехал домой. Дома, в городке, получил по протекции место учителя в уездном училище, но не сошелся с товарищами, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать. Он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, затем поступил в судебные приставы.

Он и в молодые студенческие годы не производил впечатления здорового, всегда был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика. Благодаря раздражительности и мнительности, он с людьми близко не сходиллся и друзей не имел. О чем с ним ни заговори, он все сводил к одному: в городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразя ее насилием, грубым развратом и лицемерием; подлецы сыты и одеты, а честные питаются крохами и пр. В суждениях о людях человечество делилось у него на честных и подлецов; середины не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен. Все свободное время он проводил в чтении: все, бывало, сидит в клубе, нервно теревит бородку и перелистывает журналы и книги; и по лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать; причем он с одинаковой жадностью набрасывался на все, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари.

Как видите, Громов был человек, правда, не без странностей, но не обнаруживал ничего такого, вследствие чего его могли бы заподозрить в наклонности к душевной болезни. Таких людей вы встретите на каждом шагу, и они мирно проживают весь век, считаясь вполне нормальными и здоровыми.

Но вот однажды утром он пробирался к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В переулке встретились ему два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ружьями. Всегда подобные встречи возбуждали в нем чувство сострадания и неловкости; теперь же он ощутил особенное, странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось,

что его также могут заковать в кандалы и вести по грязи в тюрьму. Возвращаясь домой, он встретил знакомого полицейского, который поздоровался с ним и прошел несколько шагов, и почему-то это показалось ему подозрительным. Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиваться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал, а все думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины, но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно, и разве невозможна клевета, наконец, судебная ошибка? Люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию, — судьи, полицейские, врачи, закаляются до того, что хотели бы, да не могут относиться к клиентам иначе, как формально. При таком же отношении, чтобы невинного человека лишить всех прав и присудить к каторге, судье нужно только время на соблюдение кое-каких формальностей. Ищи потом справедливости в маленьком, грязном городишке за двести верст от железной дороги!

Утром Громов поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, — думал он, — то, значит, в них есть доля правды. Не могли же они прийти в голову без всякого повода? Городовой кстати прошел мимо окон: это недаром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат?

Для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и ночи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор казались шпионами и сыщиками. Он вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота, томился, когда встречал у хозяйки нового человека; при встрече с полицейскими и жандармами он улыбался и посвистывал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит; ведь если не спит, значит его мучают угрызения совести — какая улика! Факты и здравые начала убеждали его, что все эти страхи — вздор, психопатия; но чем умней и логичней он рассуждал, тем сильнее и мучительней становилась душевная тревога. В конце концов, видя, что это бесполезно, он совсем бросил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху.

Он стал уединяться и избегать людей. Служба, всегда противная для него, стала теперь невыносима. Он боялся, что его подведут, положат ему незаметно в карман взятку и потом

уличат, или он сам сделает ошибку, равносильную подлогу, потеряет чужие деньги. Странно, что никогда в другое время мысль его не была так гибка и изобретательна, как теперь, когда он выдумал тысячи разнообразных поводов опасаться за свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, к книгам, и стала сильно изменять память.

Но и в таком, явно уже ненормальном состоянии рассудка Громов мог прожить всю жизнь, не обращая на себя ничего внимания, сойдя за человека хоть и несколько мнительного, но совершенно здорового. Люди так углублены в свои собственные интересы и заботы, так мало наблюдательны и внимательны к своим ближним, что необходимо, чтобы ближний проявил себя в каком-нибудь поступке, выходящем из уровня жизни и кричащем, чтобы они обратили на него внимание. В большинстве же случаев они руководствуются в своих суждениях первою, неизвестно кем пущенной молвой, сплетней, не давая себе труда вникать, насколько эта молва-сплетня заслуживает доверия.

Я встречал, по крайней мере, много совершенно подобных Громову, одержимых манией преследования людей, которых никому не приходило и в голову признавать за душевнобольных. Здравомыслящие люди вступали с ними в серьезные споры, стараясь то рассеять их опасения относительно мнимого ареста, то разуверить, что NN вовсе не шпион; другие обижались, когда подозрения больного обращались против них. Так же точно и Громов мог бы прожить годы в своих безумных грезах, и никто не обратил бы на него внимания, если бы болезнь его не сделала новых шагов в своем развитии, и больной не проявил ее в ряде поступков, совершенно уже несообразных.

Весной, когда сошел снег, в овраге около кладбища нашли два полуистлевших трупа — старухи и мальчика, с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитриевич, чтобы не подумали, что это он убил, ходил по улицам и улыбался, а при встрече с знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет подлее преступления, как убийство слабых, беззащитных. Но эта ложь скоро утомила его, и, после некоторого размышления, он решил, что в его положении самое лучшее — это спрятаться в хозяйкин погреб. В погребе просидел он день, потом ночь и другой день, сильно озяб и, дождавшись потемок, тайком, как вор, пробрался к себе в комнату. До рассвета простоял он посреди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утром, до восхода солнца, к хозяйке пришли печ-

ники. Иван Дмитрич хорошо знал, что они пришли затем, чтобы переключать в кухне печь, но страх подсказал ему, что это полицейские, переодетые печниками. Он потихоньку вышел из квартиры и, охваченный ужасом, без шапки и сюртука побежал по улице. За ним с лаем гнались собаки, кричал где-то позади мужик, в ушах свистал воздух, и Ивану Дмитричу казалось, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним.

Его задержали, привели домой и послали хозяйку за доктором. Доктор прописал холодные примочки на голову и лавровишневые капли, грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что больше он уже не придет, потому что не следует мешать людям сходить с ума. Так как дома не на что было жить и лечиться, Ивана Дмитрича отправили в больницу и положили его там в палате для венерических больных. Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил больных, и скоро, по распоряжению Андрея Ефимыча, был переведен в палату № 6. Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сени под навесом, были растасканы мальчишками.

IV

Мы успели уже несколько познакомиться с доктором Андреем Ефимовичем Рагиным, с его безволием, апатией и полным разладом слов и дел. Ко всему этому остается прибавить лишь, что все свободное от посещений больницы время (а мы видели, как редко посещал он больницу) он проводил в чтении, причем через каждые полчаса выпивал по рюмке водки, закусывая ее соленым огурцом или моченым яблоком. По вечерам же водка заменялась пивом. И так продолжалось изо дня в день в течение двадцати лет. Согласитесь, что такое систематическое отравление спиртом без малейших перерывов не могло остаться бесследным и не подействовать на умственные способности, хотя бы от природы человек не был расположен к душевным болезням.

И вот мало-помалу водка в соединении с пивом настолько отуманили мозг несчастного, что он положительно перестал сознавать отношение между собой и окружающими его предметами, вместе с тем утратил чутье и своих отношений к окружающему. Раз это случилось, то хотя его и мысли, и поступки продолжали сохранять логику здравомыслящего человека, тем

не менее они начали поражать людей, с которыми он соприкасался, своей странностью и ненормальностью.

Так, между прочими душевнобольными содержался в палате № 6 еврей Моисейка, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская. Изю всех обитателей палаты только ему одному позволялось выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользовался издавна как больничный старожил, тихий, безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах окруженным мальчишками и собаками. В халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходил по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, и просил копейчку. В одном месте дадут ему квасу, в другом — хлеба, в третьем — копейчку, так что возвращался он во флигель сытым и богатым. Но все, что приносил он с собой, отбирал у него сторож Никита в свою пользу.

Двадцать лет душевнобольной, содержавшийся в палате № 6, разыгрывал таким образом роль городского шута, и двадцать же лет заведовал этой палатой доктор и не знал даже и о существовании находившегося на его попечении больного! А в палате, не забудьте, содержалось всего-навсего пять больных.

И вот однажды весною, в марте месяце, когда доктор провожал до ворот своего обычного гостя, почтмейстера Михаила Аверьяныча, к нему подошел Моисейка и попросил копейчку, дрожа от холода и улыбаясь. Андрей Ефимыч, который никогда не умел отказывать, подал ему гривенник. «Как это нехорошо, — подумал он, глядя на его босые ноги с красными тонкими щиколотками. — Ведь мокро».

И побуждаемый чувством, похожим на жалость и на брезгливость, он пошел во флигель вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколотки. При входе доктора с кучи хлама вскочил Никита и выпрямился.

— Здравствуй, Никита, — сказал мягко Андрей Ефимыч. — Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится.

— Слушаю, ваше высокоблагородие. Я доложу смотрителю.

— Пожалуйста. Ты попроси его от моего имени. Скажи, что я просил.

Дверь из сеней в палату была отворена. Доктора увидел и узнал Иван Дмитрич, весь затрясся от гнева, вскочил и с красным, злым лицом, с глазами навывкате выбежал на середину палаты.

— Доктор пришел! — крикнул он и захохотал. — Наконец-то! Господа, поздравляю, доктор удостаивает нас своим визитом! Проклятая гадина! — взвизгнул он и в исступлении, какого никогда не видели в палате, топнул ногой. — Убить эту гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхожем месте!

Андрей Ефимыч, слышавший это, выглянул из сеней в палату и спросил мягко:

— За что?

— За что? — крикнул Иван Дмитрич, подходя к нему с угрожающим видом и судорожно запахиваясь в халат. — За что? Вор! — проговорил он с отвращением и делая губы так, как будто желая плюнуть. — Шарлатан! Палач!

— Успокойтесь, — сказал Андрей Ефимыч, виновато улыбаясь. — Уверяю вас, я никогда ничего не крал, в остальном же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу вас, если можете, и скажите хладнокровно: за что?

— А за что вы меня здесь держите?

— За то, что вы больны.

И вот, между доктором и Иваном Дмитричем завязался разговор, в котором сразу обнаружилось, что доктор едва ли не в большей степени душевнобольной, чем состоявший на его попечении умалишенный. Начать с того, что он совсем забыл, что вверенные его попечению больные могут свободно разгуливать по городу босые и просить Христа ради, и что привлекла его в палату именно встреча с подобным его пациентом, и начал уверять Ивана Дмитрича, что какая ему польза будет, если он отпустит его: его задержат горожане или полиция и вернут назад. При этом доктор начал серьезно уверять больного, что пребывание в больнице зависит вполне от случая: кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, — вот и все. «В том, что я доктор, — говорил он, — а вы душевнобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность. Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы — так я, не я — так кто-нибудь третий... При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира, — вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земных».

Но верх ненормальности заключался в том, что доктор совсем забыл, что он — доктор, а перед ним пациент, и притом душевнобольной, которого он обязан лечить по правилам науки, а не заводить с ним философские споры на такие тревожные темы, как вопросы о целях, значении и сути жизни, что равносильно ковырянию или трению наболевшей раны. Он мало того, что встал с ним на равную ногу, совершенно как со своим приятелем, но и сильно заинтересовался им не с медицинской точки зрения, в качестве интересного экземпляра душевной болезни, а как с человеком блестящего ума и образования.

«Какой приятный молодой человек!.. — думал он, идя к себе на квартиру. — За все время, пока я тут живу, это, кажется, первый, с которым можно поговорить. Он умеет рассуждать и интересуется именно тем, чем нужно».

Читая и потом ложась спать, он все время думал об Иване Дмитриче, а проснувшись на другой день утром, вспомнил, что вчера он познакомился с умным и интересным человеком, и решил сходить к нему еще раз при первой возможности.

Согласитесь, что подобное отношение доктора к своему душевнобольному пациенту показывает в самом докторе такую степень душевной болезни, при которой человек теряет уже почву под ногами, истинное значение вещей и сознание, как держать себя с различными людьми. Далее мы видим, что Андрей Ефимыч начал очень часто посещать Ивана Дмитрича и продолжал обращать его в свою философию индифферентного квиетизма, причем больной в своих возражениях оказывался не в пример логичнее и справедливее своего врача.

Подобное поведение доктора не могло не обратить на себя внимания окружающих его людей как нечто совершенно несообразное. И в самом деле: подумайте только, какое впечатление должны были вынести помощник Андрея Ефимыча Хоботов и Никита, когда, заглянув в палату сквозь полуотворенную на вершок дверь, они увидели, как Иван Дмитрич в колпаке и Андрей Ефимыч сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат, а доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное, грустное.

Отсюда и пошла распространяться по городу молва, что Андрей Ефимыч не в своем уме, и дальнейшие поступки его оправдывали эту молву. Ни малейшего протеста и возражений здравомыслящего человека не обнаруживал доктор ни тогда, когда его подвергали судебному допросу, ни когда почтмейстер

увез его путешествовать и по дороге ограбил его, заняв у него в долг последние его 500 рублей, ни по возвращении домой, оставшись без места и без всяких средств к жизни. Ко всему этому относился он с пассивностью и безволием вполне душевнобольного человека. Лишь когда слишком уже надоели ему ухаживания за ним приятеля-почтмейстера и Хоботова, он вдруг нервно вспылал, против воли сжал кулаки, поднял их выше головы, не своим голосом начал гнать вон своих гостей и бросил им вслед склянкой с бромистым калием.

После этого проявления буйства его отправили в ту же палату № 6, — и опять-таки он допустил свести себя в больницу без малейших проявлений хоть тени активности ума или воли: на слово поверил Хоботову, которого накануне прогнал с таким неистовством, что тот ведет его на какой-то фантастический консилиум. Безропотно облекся в больничное платье, а затем, совершенно не соображая, что, раз он попал в палату в качестве хотя бы мнимого больного, сторож не может выпустить его на свободу, начал просить Никиту, чтобы тот выпустил его, вышел наконец из себя и вступил с Никитой в ожесточенную, бессмысленную борьбу, вполне уже сумасшедшего характера, — после чего последовал уже апоплексический удар и смерть Андрея Ефимыча.

Все это производит на вас гнетущее и в конце концов потрясающее впечатление, причем следует сказать, что подобное впечатление производит не один только мастерский и глубокий психиатрический анализ автора, но и общая картина общества захолустного городка, жизнь которого дошла до такой всеобщей нелепицы, что вы положительно теряете сознание, кого в этой среде можно считать здоровыми, кого душевнобольными людьми, где кончается палата № 6 и начинается область якобы здравого смысла?..

V

То же самое можем мы сказать и о новом произведении г-на Чехова «Рассказ неизвестного человека». И здесь, в свою очередь, г-н Чехов нигде не высказывает прямо своих идеалов, но он предоставляет нам их чувствовать сквозь те отрицательные, мрачные краски, какими изображает печальные явления нашей жизни.

Произведение это, по моему мнению, особенно счастливо в том отношении, что оно более, чем все предыдущие, способно рассеять вышеозначенное недоумение, если только читатель

сумеет взглянуть на него вполне беспристрастными глазами. В рассказе своем автор рисует перед нами в самом ужасном и отвратительном виде именно людей, которые отрицание всяких идеалов возвели в особенного рода культ, гордятся и тщеславятся этим как чем-то в высшей степени разумным, последним словом прогресса. А рядом с подобными чудовищами рисуются перед нами люди иной категории, которые, напротив того, очень дорожат идеалами, всеми силами души своей стремятся к их осуществлению, но так они исковерканы жизнью и средой, так дрябла, дрянна и ничтожна их натура, что все попытки осуществления идеалов ничего не приносят им, кроме горького сознания своей несостоятельности, отчаяния и смерти.

В общем получается картина не менее мрачная и зловещая, чем и та, какую мы имеем в «Палате № 6», — но опять-таки, разве мог бы изобразить такую страшную картину художник, который сам бы не имел в душе своей никаких идеалов? Разве у художника-фотографа, который изображает первое, что попадает ему на глаза, не вникая в значение изображаемых явлений, может быть так глубоко осмыслена каждая страница, как это мы видим в рассказе г-на Чехова?

Картина, изображенная г-ном Чеховым в своем рассказе, производит на вас тем более страшное впечатление, что вы имеете дело здесь не с каким-нибудь захолустным городком, а с столичной интеллигенцией, дающей тон всей России. Во главе рассказа стоит в виде героя некий петербургский бюрократ, сын известного государственного человека, Григорий Иванович Орлов. Ему было 35 лет. Наружность у него была петербургская: узкие плечи, длинная талия, впалые виски, плоские щеки, глаза неопределенного цвета и скудная, тускло окрашенная растительность на голове, бороде и усах. Лицо у него было холеное, лощеное, потертое и неприятное. Особенно неприятно оно было, когда он задумывался или спал. Когда Орлов брался за газету или книгу, какая бы она ни была, или же встречался с людьми, кто бы они ни были, то глаза его начинали иронически улыбаться и все лицо принимало выражение легкой, незлой насмешки. Перед тем, как что-нибудь прочесть или услышать, у него всякий раз была уже наготове ирония, как щит у дикаря, ожидающего, что в него сейчас выстрелят. Это была ирония привычная, воспитанная годами, и в последнее время она показывалась на лице, вероятно, уже безо всякого участия воли, а как бы по рефлексу...

В первом часу он с выражением иронии брал свой портфель, набитый бумагами, и уезжал на службу. Обедал он не дома и

возвращался после восьми. Лакей его (который, как увидим ниже, является не простым лакеем, а своего рода героем) зажигал в кабинете лампу и свечи, а он садился в кресло, протягивал ноги на стул и, развалившись таким образом, начинал читать. Почти каждый день он привозил с собой или ему присылали из магазинов новые книги, и в лакейской в углах и под кроватью лежало множество книг на трех языках, не считая русского, уже прочитанных и брошенных. Читал он с необыкновенной быстротой. Сегодня прислали из магазина книгу листов в двадцать, а завтра уж она лежит обрезанная на столе, и Орлов излагает приятелям ее содержание. Говорят: скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты. Это, быть может, и правда, но судить об Орлове по тем книгам, какие он читал, было очень затруднительно. То была какая-то каша, а не чтение. Он читал и философию, и французские романы, и политическую экономию, и финансы, и новых поэтов, и издания «Посредника», — и все одинаково, с тем же ироническим выражением.

После десяти часов он тщательно одевался, часто во фрак, очень редко в свой камер-юнкерский мундир, и уезжал из дому. Возвращался под утро...

У нас принято под нравственным растлением и развратом подразумевать непременно что-то ужасное и мелодраматическое, — непременно ряд излишеств и безобразных оргий, противоестественные пороки, способность на самые возмутительные подлости, преступления, злодейства и т. п. Ничего подобного в Орлове не замечалось. Он имел вид во всех отношениях человека умеренного, аккуратного, солидного, у которого светское комильфотство не ограничивалось одним покроем платья и изящными манерами, но проводилось во всех мелочах повседневной жизни. Про него нельзя было даже сказать то, что автор говорит обо всех вообще петербургских жуирах, что они любят поговорить о своих необыкновенных вкусах. «Иной солидный жуир превосходно довольствуется ласками своей кухарки или какой-нибудь несчастной, гуляющей по Невскому, но пощупать его, так он заражен всеми пороками Востока и Запада, состоит почетным членом целого десятка тайных, предосудительных обществ и уже на замечании у полиции».

Орлов чужд был даже и подобного платонического разврата. Нравственная испорченность его была иного, более утонченного характера, тем более страшного, что она имела вполне приличную и даже изящную внешность. Она не была лишена сво-

его рода свободомыслия, жажды независимости и рациональных взглядов, по-видимому, самого новейшего чекана.

Так, он никогда не держал у себя ни кухни, ни лошадей, потому что, как выражался, не любил «заводить у себя нечистоту», и слуг терпел в своей квартире только по необходимости. Когда кто-нибудь заводил при нем разговор о кухне, детской или супружеской спальне, то он брезгливо морщился, как будто в самом деле шла речь о нечистоте. Так называемый семейный очаг с его обыкновенными радостями и дразгами оскорблял его вкусы как пошлость; быть беременной или иметь детей и говорить о них — это дурной тон, мещанство. На любовь у него был свой особенный взгляд, который выражал он в следующих рассуждениях.

«— Я не тургеневский герой, и если мне когда-нибудь понадобится освободить Болгарию, то я не понуждаюсь в дамском обществе. На любовь я прежде всего смотрю как на потребность моего организма, низменную и враждебную моему духу; ее нужно удовлетворять с толком или же совсем отказаться от нее, иначе она внесет в твою жизнь такие же нечистые элементы, как она сама. Чтобы она была наслаждением, а не мучением, и чтобы она не стесняла меня, я стараюсь делать ее красивой и обставлять множеством всяких иллюзий. Я не поеду к женщине, которую люблю, если заранее не уверен, что застаю ее во всем блеске красоты и изящества, что она будет нарядна, весела, остроумна, увлекательна; и сам я езжу к ней только, когда бываю особенно в ударе, когда я оживлен, весел и расположен к любовным излипаниям. И нам обыкновенно всякий раз удается обмануть друг друга настолько, что мы расходимся в самом радушном, даже поэтическом настроении. Так-то, душа моя. Но я не могу хотеть медных кастрюлей и нечесанной головы или чтобы меня видели, когда я не умыв и не в духе.

Зинаида Федоровна (о которой будет у нас речь ниже) в простоте сердца своего хочет заставить меня полюбить то, от чего я прятался всю свою жизнь. Она хочет, чтобы у меня в квартире пахло кухней и судомойками; ей нужно с шумом перебираться на новую квартиру, разъезжать на своих лошадях, ей нужно считать мое белье и заботиться о моем здоровье; ей нужно каждую минуту вмешиваться в мою личную прозаическую жизнь и следить за каждым моим шагом и в то же время искренне уверять меня, что мои привычки и свобода останутся при мне. Она убеждена, что мы, как молодожены, в самом скором времени совершим путешествие, то есть она хочет неотлучно находиться при моей особе, и в купе, и в отелях, а между тем в дороге я люблю читать и терпеть не могу разговаривать...»

Общественные убеждения Орлова в свою очередь соединяли в себе рядом с великосветской брезгливостью изнеженного денди пессимистический индифферентизм изверившегося человека, которому все трин-трава.

«— Высший свет, — говорил он, — бранят всегда с исключительной только целью, чтобы противопоставить его тому свету, где живут купцы, попы, мещане и мужики, разные там Сидоры и Никиты. Но чем же этот свет, скажите на милость, лучше высшего? Чем? Ведь та же ложь кругом, та же дикость, те же сплетни, наряды, карты, пошлые разговоры и та же скука. Оба света одинаково великолепны, и бранить в отдельности тот или другой — значит прямо-таки лгать. Я вам прямо скажу: если бы мне предложили выбирать по совести между тем и другим, то я, не задумываясь, остановился бы на высшем, так как все мои вкусы на его стороне. Наш свет и пошл, и пуст, но зато мы с вами хотя порядочно говорим по-французски, кое-что почитываем и не толкаем друг друга под микитки, даже когда сильно ссоримся, а у Сидоров, Никит и у их степенств — потрафляем, таперича, чтобы тебе повывлезало и полная разнузданность кабацких нравов и идолопоклонство.

— Мужик и купец кормят нас, — возражали ему.

— Да, ну так что же? Это рекомендует с дурной стороны не меня только, но и их также. Они кормят и ломают передо мной шапку, значит у них не хватает ума и честности поступать иначе. Я никого не браню и не хвалю, а только хочу сказать: высший свет и низший — оба лучше!..»

Но весь ужас, вся бездна нравственного растления Орлова и ему подобных представителей современного петербургского чиновничества заключается в той цинической иронии, о которой мы говорили уже выше, — иронии, не знавшей границ и ни перед чем не останавливающейся. Ирония эта особенно разыгрывалась на журфиксах Орлова во время ужинов его с приятелями Пекарским, Грузиным и Кукушкиным, такими же, как и он, карьеристами и жуирами.

«О, если бы вы знали, — читаем мы, — что это были за разговоры! Началось обыкновенно с того, что Орлов со смеющимися глазами заводил речь о каком-нибудь знакомом, о недавно прочитанной книге, о новом назначении или проекте; льстивый, хихикающий Кукушкин подхватывал в тон и начиналась препротивная музыка. Ирония Орлова и его друзей не знала пределов и, подобно больному волку, который на своем пути рвет все — и людей, и солому, и камни, — не щадила никого и ничего. Говорили о религии — ирония, говорили о философии, о смысле и целях жизни — ирония, поднимал ли кто вопрос о народе, его страданиях, будущности — ирония. В Петербурге есть особая порода людей, которые специально занимаются тем, что вышучивают каждое явление жизни; они не могут пройти даже мимо голодного или самоубийцы без того, чтобы не состроить рожи и не сказать пошлости. Но Орлов и его приятели не шутили, и напрасно было бы объяснять их иронию то неискренностью, то великосветским бахвальством. Они с иронией говорили, что Бога нет и со смертью личность исчезает совершенно; бессмертные существуют только во французской академии. Истинного блага нет и не может быть, так как наличность его обусловлена человеческим совершенством, а последнее есть логическая нелепость. Россия такая

же скучная и убогая страна, как Персия. Интеллигенция безнадежна, в громадном большинстве состоит из людей неспособных и никуда не годных. Народ же спился, обленился, изворовался и вырождается. Науки у нас нет, литература неуклюжа, торговля держится на мошенничестве, “не обманешь — не продашь”. И все в таком роде.

«От вина к концу ужина становились веселее и переходили ко всегдашнему и неисчерпаемому вопросу: о любви и женщинах. Начинали с легких сплетен и шуток. Подсмеивались над семейной жизнью Грузина, над победами Кукушкина или над Пекарским, у которого, будто бы, в расходной книжке была одна страничка с заголовком: “На дела благотворительности”, а другая — “На физиологические потребности”. Затем мало-помалу переходили к обобщениям. По их мнению, основанному главным образом на опыте Орлова, нет верных жен; нет такой жены, от которой, при некотором навыке, нельзя было бы добиться ласк, в самом грубом смысле этого слова, не выходя из гостиной, в то время когда в кабинете сидит муж. Девочки-подростки развращены и уже знают все. Орлов хранит у себя письмо одной четырнадцатилетней гимназистки: она, возвращаясь из гимназии, “замарьяжила на Невском офицера”, который увел ее к себе и отпустил только поздно вечером, а она поспешила поделиться своими восторгами с подругой. Говорили за ужином, что чистоты нравов не было никогда и нет ее, очевидно, она не нужна; человечество до сих пор прекрасно обходилось без нее. Вред же от так называемого разврата, несомненно, преувеличен. Извращение, предусмотренное в нашем уставе о наказаниях, не мешало Диогену быть философом и учителем; Цезарь и Цицерон были развратники и в то же время великие люди. Старик Катон имел неосторожность жениться на молоденькой, но все-таки продолжал считаться суровым постником и блюстителем нравов...»

Таков перед нами Орлов, представляющий отнюдь не какое-нибудь исключение, редко встречающийся монстр. Это тип, весьма распространенный, могущий служить кличкой для значительного числа наших современных интеллигентов, особенно в среде столичной бюрократии. Отсутствие всего святого и легкомысленное глумление над всем и вся, — такова преобладающая философия нашего современного бомонда. Далее мы посмотрим, как проявляют себя современные носители высших идеалов.

VI

Казалось бы, давным-давно пора было бы нам привыкнуть к тому, что наша литература, в лучших своих памятниках, занимается преимущественно отрицательными явлениями нашей жизни. Положительные же изображения ей по большей части не удаются, выходят искусственными, ходульными или же

сентиментальны и слащавы. Так, не говоря уже о Правдине и Стародуме комедий Фонвизина или о Штольце Гончарова, даже и такие фигуры, как Чацкий в «Горе от ума» или Инсаров в «Накануне», нельзя сказать, чтобы представляли собой нечто безусловное и не были бы местами просто смешны.

И между тем положительно не было еще в нашей литературе такого крупного писателя, который не подвергался бы упрекам в отсутствии идеалов, в пессимизме, в клевете то на молодое поколение, то на всю русскую интеллигенцию, наконец, даже на всю Россию, вместе взятую. На Гоголя смотрели как на самого злостного клеветника и пасквилянта, когда он написал «Ревизора», и, по-видимому, имели все резоны к тому. Помилуйте, в самом деле: неужели наши провинциальные города, даже хотя бы самые захолустные, все подряд наполнены были в эпоху Гоголя такими карикатурными уродами, как Сквозник-Дмухановский, Тяпкин-Ляпкин, Добчинский и Бобчинский? Неужели так-таки и не было ни одного мало-мальски порядочного человека, светлой личности, которую Гоголь был обязан вывести ради сохранения равновесия и определенного беспристрастия? О Салтыкове и говорить нечего: о нем критики не только противного лагеря, но и дружественные вопияли, что у него не существует никаких идеалов, а один беспощадный смех, которым он готов все втоптать в грязь, что угодно: и чужих, и своих, и правых, и левых, что для красного словца он не пожалеет и отца...

Совершенно такие же обвинения сыпятся по адресу г-на Чехова. Так, по поводу последнего произведения г-на Чехова один юный критик прямо-таки сетует:

«Ненастная осень царила, вероятно, на петербургских улицах, когда г-н Чехов писал свой рассказ; ненастная осень царила и на душе у него. Чем-то дряблым, вялым и старческим веет от последней вещи нашего молодого беллетриста, веет осенней сыростью и непогодой. *Ни одного доброго слова, ни одной улыбки, ни одной сильной, энергической сцены* — и это на протяжении целых пяти листов. Во время чтения вам кажется, что мелкий назойливый дождик не перестает дребезжать в ваши окна, что там, на сырой, грязной улице, плетутся измокшие фигуры людей, что откуда-то издали доносятся стоны невыносимой муки. Ни красоты, ни силы; старческий маразм окрасил все страницы в однообразный серый цвет, ненастная осень вступила в свои права»⁴.

Читая эти строки, можно подумать, что изображение дурной, ненастной погоды и дрянных людишек — есть нечто, искусства вовсе не касающееся и предосудительное. А если писатель вздумал терзать читателя такими мрачными картинками, он обязан сейчас же взять батистовый платочек и отереть его

слезки; изобразить осеннюю петербургскую слякоть и утешить его тотчас же картиной знойного летнего дня, изобразить отвратительного негодяя и тут же рядом поставить писанного красавца, сияющего всеми возможными добродетелями.

Но особенно становятся на дыбы наши критики и рецензенты, когда в произведении они замечают мало-мальски непочтительное отношение к людям их лагеря или категорий. Еще Гоголь сетовал, что стоит изобразить в смешном виде титулярного советника, и тотчас же все титулярные советники вломятся в амбицию⁵. То же самое мы видим и до сегодняшнего дня. Стоит беллетристу изобразить в смешном и нелепом виде либерала, — и тотчас же консерваторы рукоплещут, а либералы вламываются в обиду и начинают обвинять беллетриста в измене им, в отсутствии идеалов. При этом совершенно опускается из виду, что беллетристу и в голову не приходило обобщать в своем изображении всех либералов без исключения и утверждать, что все они таковы; конечно, не менее критика понимает он, что есть среди либералов люди, достойные всякого уважения, во всех отношениях порядочные и прекрасные; если же изобразил он плохенького, то сделал это вовсе не в укор им, а для того, чтобы выставить и подчеркнуть такой недостаток или уродство, какие часто встречаются в обществе, вследствие тех или иных условий жизни, в среде людей всех лагерей и направлений.

То же самое мы должны сказать и о г-не Чехове. Все выведенные им герои — очень плохи и не выдерживают самой снисходительной критики. Но мы не имеем ни малейшего права навязывать ему: хочешь, не хочешь, можешь, не можешь, а во что бы то ни стало давай нам людей самых что ни на есть идеальных; ободряй нас и утешай! Мы должны брать то, что дает нам писатель, и делать из представленного им материала те выводы и заключения, какие явствуют. В то же время не дает нам никакого права г-н Чехов предполагать, чтобы в лице Орлова он обобщал всех петербургских администраторов без исключения, в лице Зинаиды Федоровны — всех русских или, по крайней мере, столичных женщин, и, наконец, чтобы «неизвестный человек» олицетворял в себе всех людей одного с ним образа мыслей. Мы можем только сказать, что в лице Орлова обобщено явление современной жизни, действительно замечательное и заслуживающее полного внимания, — явление, встречающееся ныне на каждом шагу и с которым волей-неволей приходится считаться.

Но не следует, в свою очередь, закрывать глаза и на такое вопиющее явление, какое изобразил г-н Чехов в лицах Зинаиды

ды Федоровны и «неизвестного человека». Явление это слишком часто встречается в нашей жизни и имеет слишком большое значение в ней, чтобы игнорировать его. Видеть в Зинаиде Федоровне ничего более, как экзальтированную бабенку, а в «неизвестном человеке» — неврастеника и кисляя, — значит смотреть на вещи крайне поверхностно и упускать из внимания целого слона, а между тем в слоне-то этом таится главная суть произведения г-на Чехова, и заслуживает г-н Чехов за этого слона большой благодарности, а не укоров в том, зачем он нас не утешает и не ободряет.

VII

Слон, скрывающийся в произведении г-на Чехова, заключается в следующем: рядом с Орловыми, с этими поистине какими-то апокалипсическими чудовищами, нагло, дерзко и цинично отрицающими всякие идеалы и смеющимся над всем, что только может быть в человечестве святого, мы встречаем в нашей современной жизни очень много людей, которые, по видимому, очень дорожат разными прекрасными идеалами, увлекаются ими, устраивают себе из них своего рода религиозный культ; не ограничиваясь их исповеданием, стремятся проводить их и в самой жизни. Что, казалось бы, лучше? Но из всего этого культа и проведения идеалов в практике жизни ровно ничего не выходит, вся деятельность подобного рода людей сводится к нулю, — и все это происходит не от чего иного, как лишь оттого, что они не столько заботятся о достижении какой-либо намеченной цели, об успешности дела, сколько утешаются самим процессом дела, воображая, что в этом процессе и заключается вся суть их идеальности. Казалось бы, не все ли это равно: раз человек увлекается процессом дела, то, думает он или не думает о цели, — процесс сам собой должен его куда-нибудь привести. Но в том именно и разница, что, откиньте вы цель, и сам по себе процесс ни к чему привести не в состоянии, обращается в мертвую обрядность, гимнастическое упражнение мускулов, щекотание нервов, минутное удовлетворение самолюбия и тщеславия. Человека радует, что он делает нечто особенное, геройское, что не под стать рутинерам и пошлякам, и он утешается этим, совершенно не принимая в расчет, будут ли какие-либо результаты его деятельности. В конце концов действительно никаких результатов и не оказывается, и не потому только не оказывается, что деятель их не предусматривал, а потому, что сама деятельность, являясь сво-

его рода искусством для искусства, носит в таком случае самодовлеющий характер носящегося по воздуху мыльного пузыря, играющего всеми цветами радуги и в одно мгновение разлетающегося мелкой пылью. Если бы носитель идеалов задался какой-либо определенной и достижимой целью, он, конечно, выбрал бы или изобрел и такие средства, которые ведут прямо или косвенно к этой цели. Отсутствие же цели освобождает его и от изобретения каких бы то ни было рациональных средств; является хватание за первое, что только подвертывается под руку и что только встречается в жизни; повторяется буквально то самое, чем грешил и Дон Кихот, который в свою очередь стремился к очень возвышенным идеалам, а на деле боролся с ветряными мельницами или стада баранов принимал за полчища сарацин.

Таких дилетантов-идеалистов мы встречаем в жизни на каждом шагу, ими у нас хоть пруд пруди. Они представляют собой вопиющее зло нашей жизни, чуть ли не в большей еще степени, чем Орловы, потому что последние играют в открытую и по крайней мере никогда не обманывают. Дилетанты же, суя вам в руку грязь под видом золота, способны исказить, испортить всякое дело. Как Зинаида Федоровна, так и «неизвестный человек» являются перед нами именно подобного рода дилетантами своих излюбленных идеалов.

Зинаида Федоровна принадлежала к большому свету, была изнежена и избалована жизнью, но тем не менее чувствовала себя глубоко несчастной. Автор не знакомит нас с ее прошлым, но из ее намеков мы можем судить, как оно было хорошо:

«Когда я, например, думаю о прошлом, — рассказывает она, — о своей тогдашней жизни... ну, о людях вообще, то все это сливается у меня в одно — в образ моей мачехи. Грубая, наглая, бездушная, фальшивая и к тому же еще морфинистка. Отец, слабый и бесхарактерный, женился на моей матери из-за денег и вогнал ее в чахотку, а эту вот, свою вторую жену, мою мачеху, любит страстно, без памяти... Натерпелась я!»

Почти девочкой выдали ее замуж за престарелого чиновника⁶, окружили роскошью, комфортом. Все желания и прихоти ее немедленно удовлетворялись. Но недоставало в ее жизни одного, и самого главного для молодой женщины, — той истинной человеческой любви, которая заключалась бы не в одной чувственности, а в духовной солидарности. Не найдя такой любви в муже, она начала искать ее на стороне, и началась та преступная и отвратительная жизнь взаимных обманов и

лицемерного притворства, какой довольствуются столь многие светские женщины. Но Зинаида Федоровна не могла довольствоваться постыдным извращением идеала семейной жизни и счастья. «В эти шесть лет, — рассказывает она о своем семейном аде, — сначала играть в любовь и воображать, что она есть, потом обманывать друг друга и каждую минуту дрожать от мысли, что не сумеешь, краснеть от того, что неискусно обманываешь, улыбаться, когда стыдно, и целовать, когда чувствуешь физическое отвращение, — и все это ради чего? Ради того, чтобы быть на хорошем счету у людей, мнение которых презираешь, ради того, чтобы есть, пить, спать, наряжаться, говорить пошлости, чтобы не нарушать порядка, который установлен только потому, что люди, подчинившиеся этому порядку, не знали, что такое истинная любовь, искренность, свобода...»

Вычитавши в романах, что истинно идеальные женщины не обманывают мужей, не лгут и не притворствуют ради сохранения привольной жизни в неге и роскоши, — а смело прерывают со всем прошлым и, пренебрегая светскими предрассудками и сплетнями, открыто бросают нелюбимых мужей и устраивают новую идеальную и свободную жизнь с любимым человеком, — Зинаида Федоровна и решилась последовать этому идеалу. «Нет, — решила она, — пора, пора взяться за ум и порвать навсегда с этими людьми и порядками, иначе не увидишь, как пройдут лучшие годы и тот же кумир, которому ты служила, оглянется и насмешливо покажет тебе язык!» Далее она сказала мужу, что любит другого и живет с ним уже больше полугода, что это ее настоящий, законный муж, и она считает долгом совести сегодня же переехать к нему, несмотря ни на что, хотя бы в нее стреляли из пушек!..

«— Нет выше блага, как свобода! — говорила она при этом. — Ведь какая, подумаешь, нелепость! Мы не даем никакой цены своему собственному мнению, даже если оно умно, но дрожим пред мнением разных глупцов и заведомых негодяев. Я боялась чужого мнения до последней минуты, но как только послушалась самое себя и решила жить по-своему, глаза у меня открылись, и я увидела, что бояться было нечего. Я победила свой глупый страх и теперь счастлива и всем желаю такого счастья!..»

Сказано и сделано. И вдруг кто же оказался героем, ради которого решилась Зинаида Федоровна на свой отважный шаг? Кого избрала она кумиром своего сердца, долженствовавшим помочь ей осуществить ее идеал истинного и безупречно-

го счастья семейной жизни? Орлова — того самого Орлова, который не иначе как с отвращением говорил о кастрюлях, пеленках и всех атрибутах семейной жизни и признавал любовь только как наслаждение чувственностью, облагороженное декорумом внешнего изящества!.. Пусть бы Зинаида Федоровна влюбилась в Вронского, в Молчалина, в какую хотите ничтожную мразь, но Орлов в качестве осуществителя идеала семейной жизни — это такая ужасная ирония, что трудно себе и представить, чтобы судьба могла над кем-нибудь посмеяться более жестоко!..

Как возникла любовь и сближение Зинаиды Федоровны с Орловым, в повести не сказано. Во всяком случае, можно с достоверностью предположить, что любовь эта имела вполне вид заурядного великосветского адюльтера и не шла далее. Не такой был человек Орлов, чтобы прикидываться чем-то вроде Инсарова или Лопухова и рисоваться перед женщиной олицетворением новых идеалов и спасителем их от ига старых и любимых мужей.

И вдруг, не позаботившись сколько-нибудь позондировать любимого человека относительно его взглядов на жизнь и людей вообще и на брачные идеалы — в частности, хоть бы сговориться с ним и условиться, — она взяла да и нагрянула к нему нежданно-негаданно со всем своим семейным скарбом, сервизами и кастрюлями!..

Что же руководило ею в таком необдуманно глупом поступке, стоившем ей горького разочарования, как не увлечение одной только эффектной красотой свободной любви и решительного шага, без малейшего принятия в расчет разумной целесообразности своего поступка. Казалось бы, что именно в таком щекотливом деле, как замена законного мужа незаконным, — деле, при условиях нашей жизни весьма рискованном и могущем очень легко и скомпрометировать женщину, и погубить ее, — каждая мало-мальски благоразумная и предусмотрительная женщина должна была бы заранее взвесить все шансы успешности рокового шага и решиться на него только в таком случае, если бы была убеждена не одним слепым увлечением страсти, но и голосом холодного рассудка, что может положиться на человека, с которым решается соединиться, как на каменную гору. И вдруг — взяла и приехала, даже не осведомившись, желает ли Орлов принять ее в качестве сожительницы. Что же это, как не одно увлечение процессом дела, не загадывая о завтрашнем дне? Зинаида Федоровна была уверена, что процесс этот так красив сам по себе, что не может он

не нравиться и Орлову, которого увлеченная женщина наделяла в своем воображении всеми вычитанными из книжек идеалами.

При этом очень верно и тонко подмечена г-ном Чеховым замечательная черта, что, любуясь и увлекаясь процессом разрыва со всем старым и вступления в новую, свободную и разумную жизнь, Зинаида Федоровна в сущности оставалась все той же прежней избалованной светской женщиной, выдрессированной не для какой-нибудь новой, а все для той же старой жизни. Так, проходя мимо зеркала, даже когда у нее были заплаканы глаза, она не могла удержаться, чтобы не взглянуть на себя и не поправить прически; все еще продолжала живо интересоваться нарядами и приходила в восторг от своих покупок. Это как-то не шло к ее искренней печали. Она, как сама говорила, навсегда порвала с пошлым, ненавистным светом и в самом деле нигде не бывала, кроме магазинов и своей старой гувернантки, а между тем зорко следила за модой и шила себе дорогие платья. Для кого и для чего?

«Мне особенно памятно, — пишет в своем дневнике “неизвестный человек”, — одно новое платье, сложное по замыслу, изысканное и, по-моему, в высшей степени безвкусное; портниха уверяла, что оно прекрасно сидит и к лицу, и что она сложена на редкость. Это лишнее, ненужное платье стоило четырехста рублей. Я вспоминал наших поденщиц, которые за свой каторжный труд получают по двугривенному в день на своих харчах, и венецианских и брюссельских кружевниц, которым платят только по полуфранку в день в расчете, что остальное они добудут разворотом, и мне было стыдно, неловко, и я ненавидел Зинаиду Федоровну за то, что она, слушая портниху, краснела от удовольствия».

Но при всем этом Зинаида Федоровна все-таки заслуживает всяческого снисхождения, если взять в расчет, что она, как весьма многие женщины, была воспитана в полном неведении жизни и людей. Она была испорчена прежней своей жизнью, но и при самой этой испорченности все-таки сохранила душу живую и смутные чаяния иной, разумной и идеальной жизни. Она увлеклась одним процессом своего освобождения и возрождения, не вдумываясь глубоко в целесообразность последствий, поступила крайне опрометчиво и безумно и за то была жестоко наказана полным разочарованием в любимом человеке. Но не бросим в нее камень осуждения и простим в ней ребенка, который кинулся в омут, потянувшись за цветочком, или бабочку, сгоревшую в привлекавшем ее огне.

Совсем не таков был «неизвестный человек». Это был не мальчик, не ведающий, что творит, а муж, искушенный опытом жизни, прошедший сквозь огонь и медные трубы. От него мы вправе требовать более серьезного и осмысленного отношения к тому, что он делает. Посмотрим же, как он себя проявляет.

VIII

Казалось бы, не должно быть ни малейшего сомнения в том, что истинная, высокая, чистая и святая любовь к женщине не только не заключает в себе чего-либо эгоистического, отвлекающего человека от забот о ближних, о благе родины, от законов чести и долга, а, напротив того, будит и возбуждает все инстинкты высшего порядка. Человек, загорающийся такой любовью, чувствует такой высокий подъем духа, что у него является неудержимое стремление совершить какой-нибудь подвиг и осветить им свое высокое чувство, показать себя достойным ожидаемого счастья и встать на высоте того идеала, во имя которого его полюбили. В чем же и заключается поэзия любви, как не во взаимном желании двух любящих существ идти рука об руку по пути правды и добра. Казалось бы, это и всегда так было, — и в эпоху первых веков христианства, когда нередко любовь вдохновляла молодых мучеников мужественно выступать на арену цирка на растерзание львов и тигров, и в средние века, когда избранные дамы сердца побуждали благородных рыцарей совершать чудеса храбрости, защищая обижаемых и угнетаемых, да и в наше время любовь не перестает зачастую играть не последнюю роль в пробуждении и прищипоривании самых высоких альтруистических стремлений. Особенно это так на Западе. Я, по крайней мере, как ни стараюсь, никак не могу припомнить ни одного иностранного произведения, в котором любовь (если только изображается истинная, высокая, духовная любовь, а не та исключительно физиологическая, какой занимаются французские натуралисты) не играла бы роли вдохновительницы на все доброе. Так, я весьма недавно перечитывал роман Диккенса «История двух городов», который в юности произвел на меня потрясающее впечатление, доходившее до галлюцинаций. В романе этом одну и ту же девушку, мисс Манет, страстно полюбили два молодых человека: один француз — Дарне, последний представитель знатной французской аристократической фамилии, последователь новых идей, отказавшийся от дворян-

ства, всех богатств и привилегий и переселившийся в Англию зарабатывать хлеб честным трудом, а другой — как две капли воды похожий на него наружностью, но горький пьяница, английский клерк мистер Картон. И вот мы увидим, что ни того, ни другого любовь не сделала узким эгоистом, глухим и немым ко всему, что творится на свете, а, напротив, обоих повлекла к самому высокому самопожертвованию. Дарне, только что женившийся и чувствовавший себя на седьмом небе, тем не менее тайком от молодой жены бежал во Францию, сознавая всю постыдность пресмыкания в безопасности между малодушных эмигрантов, в то время как на родине его рекой лилась кровь за свободу, и мужественно встал лицом к лицу опасности лечь под ножом гильотины. Мистер Картон, в свою очередь, почувствовал такой высокий подъем духа, что решился пожертвовать постылой жизнью счастьем своей возлюбленной и, устроив бегство Дарне, сам за него пошел на гильотину, пользуясь сходством с ним.

Отчего же только наша беллетристика так часто изображает любовь в виде постыдного нравственного падения, дрянного опошления и забвения всех заветов юности, всех требований чести и долга? Предполагается так, что человек только до тех пор и может быть на высоте своего призвания, гражданского мужества и подвижничества, пока далек от женской прелести; а как только вкусит проклятого любовного зелья, так в глазах у него все и потемнеет, и позеленеет: прощай, родина, борьба со злом, талант; все приносится в жертву свиванию теплого семейного гнездышка и эгоистическому блаженству в его недрах. Что это такое? Остаток допетровского домостроевского аскетизма, или же столь дряблой натурашкой обладает русский человек, что не в состоянии бывает совместить разом двух сильных страстей и способен, оказывается, всецело отдаваться лишь одной из них?

В том и дело, что нет, тысячу раз нет. Многочисленные исторические примеры и наблюдения современной жизни могут нас убедить, что и в нашей жизни любовь очень часто играет роль вдохновительницы. Но это бывает лишь тогда, когда ей есть на что вдохновлять людей. Любовь может быть вдохновительницей только тогда, когда у человека есть живое дело, которым он глубоко и страстно проникнут, и которое есть дело самой жизни его. Такое именно дело мы видим и у первых христиан, и у средневековых рыцарей, и у Дарне. В самом деле, если я страстно люблю искусство, науку, — статочно ли, чтобы я разлюбил их и бросил только потому, что полюбил женщину?

Но совсем другое дело, когда любовь является в жизни человека единственной живой страстью; все же остальное в ней мертво, формально и обрядно. Понятно, что любовь не может вдохновить конторщика к более энергическому выстукиванию на счетах железнодорожных балансов; не может она зажечь новой энергией и человека, совершающего что-либо в виде принудительного процесса, исполняемого на основании отвлеченных внушений долга и лишенного в то же время всякой разумной и осязательной целесообразности. Живое всегда победит мертвое, и человек весь отдастся этому живому.

Так случилось и с героем повести г-на Чехова «неизвестным человеком».

Автор не знакомит с прошлым своего героя, и мы узнаем только вскользь, что он служил некогда в морской службе, был лейтенантом, совершил кругосветное путешествие, но так, по-видимому, мало любил свое морское дело, что променял его на какое-то другое. Мы имеем основание предполагать, что и к этому другому делу он относился так же мертво и формально, как некогда к морскому. По крайней мере, мы видим, что он поступил к Орлову в лакеи неспроста, а ради каких-то особенных таинственных соображений, но когда эти соображения обманули его и жить у Орлова в унижительной роли лакея оказалось не для чего, он скучал, томился, считал пропащим для себя и для дела каждый день своей жизни, и все-таки продолжал жить. Очевидно, это была апатия изверившегося и утомленного человека, для которого день прошел, и слава Богу.

Но не все умерло в душе его: было в ней нечто и такое, что призывало его к жизни и наполняло его мозг горячими мечтами: «Орлов, — читаем мы, — брезгливо отбрасывал от себя женские тряпки, детей, кухню, медные кастрюльки, а я подбирал все это и бережно лелеял в своих мечтах, любил, просил у судьбы, и мне грезилась жена, детская, тропинка в саду, домик; потом фантазия уносила меня в аудиторию или на пароход и в океан, оттуда опять в мою детскую — и так без конца...»

Зинаида Федоровна и явилась осуществлением этих единственно живых его мечтаний. Хотя он и пишет, что не был влюблен в нее, и что только в обыкновенном человеческом чувстве, которое питал к ней, было гораздо больше молодого, свежего и радостного, чем в любви Орлова, но в какой степени на самом деле это была всепоглощающая страсть, мы можем судить по следующим строкам:

«Работая по утрам сапожной щеткой или веником, я с замиранием сердца, как мальчишка, ждал, когда, наконец, услы-

шу ее голос и шаги и увижу милое, доброе, немножко заспанное лицо. Стоять и смотреть на нее, когда она пила кофе и потом завтракала, подавать ей в передней шубку и одевать на ее маленькие ножки калоши, причем она опиралась на мое плечо, потом несколько часов подряд ждать с нетерпением, когда снизу позвонит мне швейцар, встречать ее в дверях розовую, холодную, попудренную снегом, слушать отрывистые восклицания насчет мороза или извозчика, — если бы вы знали, как все это было для меня важно и полно интереса! Мне хотелось влюбиться в нее и хотелось, чтобы у моей будущей жены было именно такое лицо, такой голос!..»

И вот, раз у него, испытавшего, по собственным словам его, голод, холод, болезни, лишение свободы, но личного счастья не знавшего, бесприютного и имевшего за душой одни тяжкие воспоминания, которые пугали его совесть, — загорелась живая страсть. Понятно, что все мертвое, отвлеченно надуманное должно было бесследно сгореть в огне этой страсти, и он почувствовал вдруг, что в нем произошла перемена, и он стал другим человеком. «Чтобы проверить себя, — говорит он, — я начал было вспоминать свое прошлое, но тотчас мне стало жутко, как будто я нечаянно заглянул в темный угол. Вспомнил я своих товарищей и знакомых, и первая мысль моя была о том, как я покраснею и растеряюсь, когда встречу кого-нибудь из них. Кто же я теперь такой? О чем мне думать и что делать? Куда идти? Для чего я живу?»

Страшно было это жуткое сознание своего нравственного падения, своей измены всему прошлому, что до сих пор составляло содержание всей его жизни, — но весь ужас трагической его коллизии ждал героя нашего впереди и заключался в той радикальной противоположности, какая существовала между ним и Зинаидой Федоровной. Оба они жили до того времени призрачной жизнью, оба обманывали себя и других теми иллюзиями, которыми тешились, оба пришли к разочарованию в этих иллюзиях, к полному нравственному банкротству, но великое горе для обоих было то, что один искал выхода в том самом, в чем разочаровалась другая, и наоборот.

Когда герой открыл глаза Зинаиде Федоровне и дал ей понять весь позор ее ложного положения в доме Орлова, она была готова лишиться себя жизни, но он, воззвав ее к настоящему, а не призрачному обновлению, увлек ее за границу, где, слушая его рассказы из прошлого, она загорелась новой энергией протеста против всего своего прошлого и говорила:

— Я сама ненавижу и презираю свое прошлое, и Орлова, и свою любовь... Какая эта любовь? Это эгоизм, грубый, пошлый

эгоизм!.. — продолжала она, сверкая глазами. — Я любила Орлова, то есть, другими словами, хотела, чтобы он принадлежал только мне, — и в этом вся жизнь, все страдание. Теперь даже смешно все это, — говорила она, подходя к окну и глядя вниз на канал. — Все эти любви только туманят совесть и сбивают с толку. В жизни или вовсе нет смысла, или же она только в одном — в борьбе. В борьбе не на жизнь, а на смерть! Наступит каблуком на подлую змеиную голову, чтобы она — крак! Вот в чем смысл.

Случись у нашего героя за душой кроме любви к Зинаиде Федоровне хоть что-нибудь столь же живое, какова была его любовь, очень возможно, что, как ни была разочарована Зинаида Федоровна в любви, она могла бы со временем и вновь полюбить человека, спасшего ее от смерти. Как любовь вдохновляет на подвиги, так, наоборот, и живое увлечение каким-нибудь делом способно возбудить любовь. Энтузиасты, как известно, по большей части пользуются успехом у женского пола. Но чем более разглядывала Зинаида Федоровна нашего героя, тем более и более убеждалась, что перед ней не живой человек, а гнилой труп, да к тому же еще и обманщик почище Орлова, так как, желая привлечь ее, он рисовался перед нею тем, в чем сам изверился, и сулил ей то, что дать был давно уже не в состоянии. И вот, наконец, у них произошло страшное и роковое объяснение, в котором вся фальшь их взаимных отношений всплыла наружу и обнаружилась во всем своем безобразии и безвыходности.

«— Владимир Иванович... — сказала она тихо и прерывисто дыша; ей тяжело было говорить. — Владимир Иванович, если вы сами не верите в дело, если вы уже не думаете вернуться к нему, то зачем... зачем вы тащили меня из Петербурга? Зачем обещали и зачем возбудили во мне сумасшедшие надежды? Убеждения ваши изменились, вы стали другим человеком, и никто не винит вас в этом, — убеждения не всегда в нашей власти, но... но, Владимир Иванович, Бога ради, зачем вы неискренни? — продолжала она тихо, подходя к нему. — Когда я все эти месяцы мечтала вслух, бредила, восхищалась своими планами, перестраивала свою жизнь на новый лад, то почему вы не говорили мне правды, а молчали или поощряли рассказами и держали себя так, как будто вполне сочувствовали мне? Почему? Для чего это было нужно?

— Трудно сознаваться в своем банкротстве, — проговорил он, оборачиваясь, но не глядя на нее. — Да, я не верю, утомился, пал духом... Тяжело быть искренним, страшно тяжело — и я молчал. Не дай Бог никому пережить то, что я пережил.

— Владимир Иванович, — сказала она и взяла его за обе руки. — Вы много пережили и испытали, знаете больше, чем я; подумайте серьезно и скажите: что мне делать? Когда я мало-помалу убедилась, что вы не верите,

то и у меня поколебалась вера, и я также... пала духом. Научите меня. Если вы сами уже не в силах идти и вести за собой других, то по крайней мере укажите, куда мне идти. Согласитесь, ведь я живой, чувствующий и рассуждающий человек... Попасть в ложное положение... играть жалкую, унижительную роль... мне это тяжело. Я не упрекаю, не обвиняю вас, а только прошу.

— Ну, что же? — спросила Зинаида Федоровна, после того как гарсон принес чай и вышел. — Что вы мне скажете?

— Не только свету, что в окне, — отвечал герой. — И кроме меня есть люди, Зинаида Федоровна.

— Так вот укажите мне их, — живо сказала она. — Я об этом только и прошу вас.

— И еще я хочу сказать, — продолжал он. — Служить идее можно не на одном каком-нибудь поприще. Если ошиблись, изверились на одном, то можно отыскать другое. Мир идей широк и неисчерпаем.

— Мир идей! — проговорила она и насмешливо поглядела ему в лицо. — Так уж лучше мы перестанем... что уж тут...

Она покраснела и пошла к столу наливать чай.

— Мир идей! — повторила она и отбросила салфетку в сторону, и лицо ее приняло негодующее, брезгливое выражение. — Все эти ваши прекрасные идеи, я вижу, сводятся к одному неизбежному, необходимому шагу: я должна сделаться вашей любовницей. Вот что нужно. Носиться с идеями и не быть любовницей честнейшего, идейнейшего человека — значит не понимать идеи. Надо начинать с этого... то есть с любовницы, а остальное само приложится.

— Вы раздражены, Зинаида Федоровна, — сказал он.

— Нет, я искренна! — крикнула она, тяжело дыша. — Я искренна!

— Вы искренни, быть может, но вы заблуждаетесь, и мне больно слушать вас.

— Я заблуждаюсь! — засмеялась она. — Кто бы говорил, да не вы, сударь мой! Пусть я покажусь вам неделикатной, жестокой, но куда ни шло: вы любите меня? Ведь любите?

Герой покраснел и пожал плечами.

— Да, пожимайте плечами! — продолжала она насмешливо. — Когда вы были больны, я слышала, как вы бредили мной, потом постоянно эти обожающие глаза, вздохи, благонамеренные разговоры о близости, духовном родстве... Но главное, — почему вы до сих пор были неискренни? Почему вы скрывали то, что есть, а говорили о том, чего нет? Сказали бы с самого начала, какие собственно идеи заставили вас вытащить меня из Петербурга, так бы уж я и знала... Отравилась бы тогда, как хотела, и не было бы теперь этой нудной комедии... Э, да что говорить! — Она махнула на него рукой и села.

— Похоже на то, как будто вы подозреваете во мне бесчестные намерения, — обиделся он.

— Ну, да уж ладно! Что уж тут! Я не намерения подозреваю в вас, а то, что у вас никаких намерений не было. Будь они у вас, я бы уж знала их. Кроме идей о любви у вас ничего не было, — засмеялась она. — Теперь идеи и любовь, а в перспективе — я любовница. Таков уж порядок вещей и в

жизни, и в романах... Вот вы бранили его, — сказала она и ударила ладонью по столу, — а ведь поневоле с ним согласишься. Недаром он презирает все эти идеи.

— Он не презирает идеи, а боится их! — крикнул я. — Он трус и лжец.

— Ну, да уж ладно. Он трус, лжец и обманул меня, а вы? Извините за откровенность: вы кто? Он обманул и бросил меня на произвол судьбы в Петербурге, а вы обманули и бросили меня здесь. Но тот хоть идей не приплел к обману, а вы...

— Бога ради, зачем вы это говорите? — ужаснулся герой, ломая руки и быстро подходя к ней. — Если Орлов и я обманули вас, то причем тут идеи? Чем они виноваты? Ведь не я и не Орлов их выдумали... Нет, Зинаида Федоровна, нет, это цинизм, нельзя так отчаиваться, послушайте меня, — продолжал он, ухватившись за мысль, которая вдруг неясно блеснула у него в голове и, казалось ему, могла еще спасти их обоих. — Слушайте меня... Я чахоточный, испытывавший на своем веку, кажется, все, что только можно испытать человеку, крепко понял мозгом и своею болью, что назначение человека или ни в чем, или же только в одном — в самоотверженной любви к ближнему. Вот куда мы должны идти и в чем наше назначение! Вот моя вера!

Дальше он хотел сказать о милосердии, о всепрощении, о том, что можно служить истине независимо от принадлежности к той или другой категории или партии, но голос его вдруг зазвучал неискренне, он смутился и в отчаянии махнул рукой.

— Мне жить хочется! — проговорил он искренне. — Жить, жить — и больше ничего. Я хочу мира, тишины... я хочу тепла, вот этого моря, вашей близости. О, как бы я хотел внушить и вам эту страстную жажду жизни! Она, быть может, болезнь, да, вероятно, и есть болезнь, но с ней хорошо. Как бы мы жили! Вы только что говорили про любовь, но для меня было бы довольно и одной близости вашей, вашего голоса, выражения лица... Я бы служил вам, берег и, как говорится, лелеял бы вас... Вашего ребенка я любил бы, как своего... и я уже люблю его.

Она покраснела и сказала быстро, чтобы помешать ему говорить:

— Вы любите жизнь, а я ее ненавижу. Стало быть, дороги у нас разные».

И затем, произведя на свет девочку, которой была беременна от Орлова, она отравилась.

Признаюсь, давно уже не приходилось читать в литературе нашей ничего столь глубокого и сильного, как вся эта сцена. И возвращаясь к началу своего трактата о г-не Чехове, я обращаюсь в заключение ко всем мало-мальски беспристрастным читателям и спрашиваю, — неужели подобную сцену, которую можно смело поставить на одном ряду со всем, что только было лучшего в нашей литературе, мог создать писатель, не имеющий никаких идеалов?

